

Д.Н. Мамин-Сибиряк

Черты из жизни Пепко

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
М22

Мамин-Сибиряк Д.Н.
М22 Черты из жизни Пепко / Д.Н. Мамин-Сибиряк – М.: Книга по Требованию, 2021. – 178 с.

ISBN 978-5-4241-1847-0

Автобиографический роман-воспоминание о петербургской юности "Черты из жизни Пепко" (1894) Одна из лучших книг Мамин-Сибиряка, в которой рассказывается о первых шагах Мамина в литературе, о приступах острой нужды и моментах глухого отчаяния. Он ярко обозначил мирозерцание писателя, догмы его веры, взгляды, идеи, которые легли в основу лучших его произведений: глубокий альтруизм, отвращение к грубой силе, любовь к жизни и, вместе с тем, тоска о ее несовершенствах, о "море печали и слез", где столько ужасов, жестокостей, неправды. "Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью. Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец - вот где жизнь и настоящее счастье!" - говорит Мамин в "Чертах из жизни Пепко".

ISBN 978-5-4241-1847-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Д.Н. Мамин-Сибиряк, 2021

Дмитрий Наркисович Мамин-
Сибиряк
Черты из жизни Пепко

I

Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провел скверную ночь и на лекции не пошел. Во-первых, опоздал, а во-вторых, нужно было доканчивать седьмую главу третьей части первого моего романа. Кто пробовал писать роман, тот поймет, насколько последняя причина была уважительна. Прежде чем приняться за работу, я долго ходил по комнате, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь у единственного окна, выходившего на улицу. Это окно было моим пробным пунктом, точно каждая трудная мысль сама останавливалась у него. Может быть, это было инстинктивным тяготением к свету, которого так мало отпущено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, но открывавшийся из него вид не представлял собой ничего интересного. Просто пустырь, занятый бесконечными грядами капусты. Таких пустырей в глубине Петербургской стороны и сейчас достаточно, а двадцать лет тому назад их было еще больше. Мой пустырь до некоторой степени оживлялся только канатчиком, который, как паук паутину, целые дни вытягивал свои веревки. Я уже привык к этому неизвестному мне человеку и, подходя к окну, прежде всего отыскивал его глазами. У меня плелась своя паутина, а у него – своя.

Обыкновенно моя улица целый день оставалась пустынной – в этом заключалось ее главное достоинство. Но в описываемое утро я был удивлен поднимающимся на ней движением. Под моим окном раздавался торопливый топот невидимых ног, громкий говор – вообще происходила какая-то суматоха. Дело разъяснилось, когда в дверях моей комнаты показалась голова чухонской девицы Лизы, отвечавшей за горничную и кухарку, и проговорила:

– Она повесилась...

Меня удивило то, что Лиза улыбалась, хотя это и делалось из вежливости к жильцу. Затем, она была так счастлива, что успела первой сообщить мне взволновавшую всю улицу новость.

– Кто повесился?

– Вировка весилась...

Репертуар русских слов у Лизы находился в несоответствии с пожиравшей ее жаждой рассказать мне новость, и свое объяснение она закончила при помощи рук. Я понял, наконец, кто повесился, и успокоенная чухонская девица скрылась. Впрочем, теперь я и без нее мог увидеть собственными глазами эту новость, то есть грязные босые ноги, выставившиеся из-под ветхого навеса, в котором канатчик складывал свою паклю и веревки. Толпа прибывала с удивительной быстротой, – откуда только бралось столько народа в пустынной улице. Стремглав летели босоногие «сапожные» мальчишки, портняжки, горничные, какие-то подозрительные бабы, разные «отставные», которыми по преимуществу населена Петербургская сторона, и просто «жилыцы». Сначала толпа хлынула было в огород, но явившиеся на место действия два городских выгнали любопытных обратно на улицу, и благодаря этому обстоятельству я из своего бельэтажа мог отлично видеть нижнюю часть неподвижно висевшего в сарайчике мертвого тела канатчика. Чухонка Лиза уже три раза вихрем пронеслась по улице взад и вперед, собирая на лету последние известия, чтобы сейчас же разнести их с проворством обезьяны по всем трем этажам нашего деревянного домика. Меня

всегда возмущало это нахальное любопытство уличной толпы в таких случаях, а теперь в особенности, потому что мне казалось, что канатчик почти принадлежал мне, как собрат по профессии.

Главным неудобством моей комнаты было то, что она отделялась от хозяйской половины очень тонкой дощатой стенкой, и слышно было каждое слово, которое говорилось по обе ее стороны. Благодаря этому обстоятельству я в течение какого-нибудь месяца до тонкости узнал всю жизнь моих хозяев, до мельчайших подробностей. Во-первых, они были люди одинокие – муж и жена, может быть, даже и не муж и не жена, а я хочу сказать, что у них не было детей; во-вторых, они были люди очень небогатые, часто ссорились и вообще вели жизнь мелкого служилого петербургского класса. Он уходил в какую-то канцелярию ровно в одиннадцать часов и возвращался обыкновенно к обеду. Если он запаздывал или приходил навеселе, жена начинала на него ворчать, постепенно усиливая тон. Видимо, у него был прекрасный характер, потому что в таких случаях он начинал оправдываться виноватым голосом, просил прощения и вообще употреблял все средства, чтобы потушить беду домашними средствами. Но все-таки он был большой хитрец. Я это знал по тем пустым словам, какими он старался заговорить жену. Он десятки раз косневшим языком повторял самые нелепые объяснения своего поведения, пока жене не надоедало слушать его глупости. Вся суть этой политики заключалась в том, чтобы выиграть время и не дать жене войти в раж. Впрочем, эти опыты гипнозизма не всегда удавались, и дело доходило до очень громких слов, взаимных укоров, подавленной ругани, швыряния разных предметов домашнего обихода и каких-то подозрительных пауз, которые разрешались сдержанными рыданиями жены. В таких исключительных случаях я считал своим долгом издавать предупредительный кашель, ронял на пол книгу или начинал ходить по комнате, стуча каблуками. Этот маневр моментально производил желанное действие, и сцена заканчивалась сердитым шепотом, тяжелым молчанием и такими движениями, точно кто-то кого-то отталкивал и не мог оттолкнуть. Нужно признаться, что я не злоупотреблял своим влиянием, потому что мое вмешательство, очевидно, шло в пользу только виноватой стороны, которой являлся всегда муж, а я не хотел быть его тайным сообщником. Накануне разыгралась именно одна из таких семейных бурных сцен, и поэтому утро было молчаливо-тяжелое. Меня интересовало, как сегодня вывернется мой легкомысленный хозяин, который, как мне было известно доподлинно, именно по утрам мучился угрызениями совести. И представьте себе, этот хитрец воспользовался смертью несчастного канатчика, чтобы помириться с женой! Он так громко его жалел, так вздыхал, высказал столько хороших чувств и даже сам сбегал посмотреть на покойника, чтобы удовлетворить разгоревшееся любопытство жены в качестве очевидца. По тону ее голоса я уже слышал, что ей просто лень сердиться и что ради повесившегося канатчика она готова совсем простить своего тирана. Мое предположение скоро подтвердилось: послышался с его стороны ласковый шепот и уговариванье, а потом поцелуй. Одним словом, канатчик точно нарочно повесился именно в это утро, чтобы поссорившиеся накануне супруги помирились...

– И хорошо сделал этот канатчик, черт возьми! – слышался голос мужа.

– А если у него маленькие дети остались? – слезливо отвечала жена.

– Почему непременно дети и почему непременно маленькие?

Меня всегда удивлял тот быстрый переход, который совершался вслед за та-

ким примирением. Муж сразу делался другим человеком – уверенный тон, ответы полусловами, даже походка другая. Так было и теперь. Прощенный грешник, видимо, чувствовал себя прекрасно и даже, кажется, любезно ущипнул жену, потому что она подавленно взвизгнула и засмеялась, но в этот трогательный момент появилось третье лицо, которое вошло в комнату, не раздеваясь в передней. По первым фразам можно было заключить, что это третье лицо было своим человеком и притом, несмотря на сравнительно ранний час, было уже сильно навеселе и плохо владело заплетавшимся языком. По тону хозяина можно было заключить, что он не был рад неожиданному появлению гостя, который в другое время мог бы явиться спасителем семейного счастья, а сейчас просто не дал довести до конца счастливый момент. Сам гость упорно не желал замечать ничего и добродушнейшим образом что-то сюсюкал, причмокивал языком и топтался на одном месте, как привязанная к столбу лошадь.

Все эти события совершенно вышибли меня из рабочей колеи, и я, вместо того чтобы дописывать свою седьмую главу, глядел в окно и прислушивался ко всему, что делалось на хозяйской половине, совсем не желая этого делать, как это иногда случается.

Дальше я услышал, как хозяин что-то принялся рассказывать гостю, а тот одобрительно мычал.

– Отлично... Одобряю! – повторял пьяный голос. – А я сейчас к нему пойду познакомлюсь... да.

– Пожалуйста, оставьте, Порфир Порфирыч, – проговорила хозяйка. – Какое нам дело до других и какое мы имеем право мешать человеку?.. Наконец, я вас прошу, Порфир Порфирыч... Человек пишет, а вдруг вы ввалитесь, – кому же приятно в самом деле?

– Пишет? Та-ак... – тянул гость и с упрямством пьяного человека добавил: – А я все-таки пойду и познакомлюсь, черт возьми... Что же тут особенного? Ведь я не съем.

Я понял, что разговор шел обо мне и что хозяин своим молчанием поощряет намерение гостя, – проклятый плут за мой счет хотел выдворить непрощенного гостя, закончить прерванную сцену супружеского примирения в окончательной форме. Это меня, наконец, взбесило... Что им нужно от меня? Вот тебе и седьмая глава третьей части! Я приготовился так принять незваного гостя, что он в следующий раз позабудет мой адрес. А тут чухонка Лиза заглянула в мою дверь без всякой причины, ухмыльнулась и скрылась, как крыса, укравшая кусок сала. Как хотите, это было уже слишком: за мой счет готовилось какое-то очень глупое представление.

– Она дома... – послышался предупреждавший шепот Лизы, когда в коридорчике, отделявшем мою комнату от кухни, послышались какие-то шмыгающие шаги, точно чьи-то ноги прилипали к полу.

II

– Можно войти-с? – послышался голос за моей дверью, сопровождаемый пыльным причмокиванием и сдержанным хихиканьем Лизы.

– Войдите...

В дверях показался лысый низенький старичок, одетый в старое, потертое осеннее пальто; на ногах были резиновые калоши, одетые прямо на голую ногу. Обросшие бахромой, вытертые и точно вылощенные штаны служили только дополнением остального костюма, который, говоря откровенно, произвел на меня совсем невыгодное впечатление, и я даже подумал одно мгновение, что это какой-нибудь благородный отец, собирающий пяточки. Но старичок улыбнулся самым веселым образом и даже лукаво подмигнул мне, когда, как-то по-театральному, прочитал мне свою рекомендацию:

– Порфир Порфирыч Селезнев, литератор из мелкотравчатых... Прошу любить и жаловать. Да... Полюбите нас черненькими... хе-хе!.. А впрочем, не в этом дело-с... ибо я пришел познакомиться с молодым человеком. Вашу руку...

Бывают такие особенные люди, которые одним видом уничтожают даже приготовленное заранее настроение. Так было и здесь. Разве можно было сердиться на этого пьяного старика? Пока я это думал, мелкотравчатый литератор успел пожать мою руку, сделал преуморительную гримасу и удушливо расхохотался. В следующий момент он указал глазами на свою отставленную с сжатым кулаком левую руку (я подумал, что она у него болит) и проговорил:

– Я – раб, я – царь, я – червь, я – бог...¹

При последнем слове кулак разжался, и в нем оказалось несколько смятых кредиток.

– Это мой несгораемый шкаф, молодой человек... Хе-хе!.. Сколько вам нужно? Берите десять, пятнадцать...

– Позвольте, мне кажется странным... Одним словом, что вам угодно от меня?..

Порфир Порфирыч посмотрел на меня непонимающим взглядом, быстро опустился на мой стул у письменного стола и торопливо забормотал:

– Понимаю, понимаю... молодая гордость! Понимаю и не обижаюсь: так и должно быть. Это хорошо... Иначе оставалось бы сделать то же, что устроил ваш канатчик. А ведь какой хитрец... а? Я про канатчика... Вы только подумайте: у человека работишка совсем плохая, притом он должен кругом – хозяину за квартиру, в мелочную лавку, в кабак... да. Наконец, беднягу постоянно сосал червячок: эх, опохмелиться бы!.. Ну, и представьте себе, должен он целые дни тянуть эти проклятые веревки, целые дни думать, как ему извернуться, чтобы и голодная жена не ругалась, чтобы и своя голова не трещала и чтобы лавочник поверил в долг... И вот присмотрел он этакий гвоздь в своем сарайчике, приспособил веревочку и – готов. Это, скажу я вам, был истинный философ, который перехитрил все и всех. Понимаете: трах! – и ни долга в лавочку, ни платы за квартиру, ни похмелья, ни этих проклятых веревок, которые ему отравили всю жизнь. Я нахожу это недурным способом «раскланяться с здешним миром», как говорят китайцы. Главное, ремесло такое подлое у человека: вил, вил свои бесконечные веревки, ну, наконец, и соблазнился. На его месте всякий порядочный

человек давно бы сделал то же самое...

Слушая эту пьяную болтовню, я рассматривал физиономию Порфира Порфирыча. Ему было за пятьдесят лет. Жиденькие, мягкие, седые, слегка вившиеся волосики оставались только на висках и на затылке; маленькая козлиная борода и усы тоже были подернуты сединой. Когда-то это лицо было очень красиво – и большой умный лоб, и живые, темные, большие глаза, и правильный нос, и весь профиль. Теперь это лицо от великого пьянства и других причин было обложено густой сетью глубоких морщин, веки опухли, глаза смотрели воспаленным взглядом, губы блестели тем синеватым отливом, какой бывает только у записных пьяниц. Наконец, эти гримасы, причмокивания и подмигивания тоже говорили сами за себя.

Мое первоначальное решение выпроводить гостя без церемоний сменилось раздумьем: зачем гнать пьяного старика – поболтает и сам уйдет.

– Так вы, молодой человек, неужели никогда и ничего не слышали про Порфира Порфирича Селезнева? – спрашивал старик, доставая берестяную тавлинку и делая самую аппетитную понюшку.

– Ничего не слышал.

– Значит, и моего «Яблока раздора» не читали?

– Нет...

Старик вытащил из бокового кармана смятый лист уличной газетки и ткнул пальцем на фельетон, где действительно был напечатан рассказ «Яблоко раздора», подписанный П. Селезевым.

– Да-с, а теперь я напишу другой рассказ... – заговорил старик, пряча свой номер в карман. – Опишу молодого человека, который, сидя вот в такой конурке, думал о далекой родине, о своих надеждах и прочее и прочее. Молодому человеку частенько нечем платить за квартиру, и он по ночам пишет, пишет, пишет. Прекрасное средство, которым зараз достигаются две цели: прогоняется нужда и догоняется слава... Поэма в стихах? трагедия? роман?

Я сделал невольное движение, чтобы закрыть книгой роковую седьмую главу третьей части романа, но Порфир Порфирыч поймал мою руку и неожиданно поцеловал ее.

– Люблю, – шептал пьяный старик, не выпуская моей руки. – Ах, люблю... Именно хорош этот молодой стыд... эта невинность и девственность просыпающейся мысли. Голубчик, пьяница Селезнев все понимает... да! А только не забудьте, что канатчик-то все-таки повесился. И какая хитрая штука: тут бытие, вившее свою веревку несколько лет, и тут же небытие, повешенное на этой самой веревке. И притом какая деликатность: пусть теперь другие вьют эту проклятую веревку... хе-хе!

Порфир Порфирыч тяжело раскашлялся, схватившись за надсаженную простудой грудь, и даже выпустил из кулака деньги. Я подал ему стакан воды, и пьяница поблагодарил меня улыбающимися глазами. Меня начинала интересовать эта немного дикая сцена.

Собрав деньги с пола, старик разложил их на моем столе, пересчитал и с глубоким вздохом проговорил:

– Двадцать семь рубликов, двадцать семь соколиков... Это я за свое «Яблоко раздора» сцапал. Да... Хо-хо! Нам тоже пальца в рот не клади... Так вы не желаете взять ничего из сих динариев?

– Нет.

– Все равно пропью.

– Зачем пропивать?.. Вот у вас пальто холодное, а скоро наступит зима. Мало ли что можно приобрести на эти деньги?

– Вот вы говорите одно, а думаете другое: пропьет старый черт. Так? Ну, да не в этом дело-с... Все равно пропью, а потом зубы на полку. К вам же приду двугривенный на похмелье просить... хе-е!.. Дадите?

– Если у самого будут...

– О, юноша, юноша... Ну, да не в этом дело. Д-да... А слышали вы, юноша, нечто о волчьем хлебе?

– Нет.

– Та-ак-с... А это вот какая история-с, юноша. Возьмите вы теперь волка, настоящего лесного волка, который по лесу бегает и этак зубами с голоду щелкает. Жалованья ему не полагаются, определенных занятий не имеет, ну, одним словом, настоящий волк, которому на роду написано голодать. И вдобавок волк-то еще состарился: шерсть у него вылиняла, глаз притупился, на ухо тут, нос заржавел, зубы съел, – ну, ему вдвойне приходится голодать супротив молодых волков. Не идти же ему к дантисту: вставьте, мол, новые зубы и при этом позвольте-с очки... Так? И вдруг этому облезлому, беззубому волчищу этакий кус попадает?.. Хам! Неужели он по частям будет добычу размеривать? Сразу голубчик слопает, а потом опять голодать. Так и в нашем деле... Теперь поняли?.. Ведь это надо на своей коже испытать. А кстати, вот что, пойдете в одно место злачное?

– Куда?

– Да попросту в трактирное заведение... Чайку напьемся, машину послушаем, ибо душа требует простора, трубных звуков и сладкого забвения. Вы газеты читаете, а я просияю божественной теплотой. Знаете, как сказано у Гафиза:² «Пустыня льву, лес птице и кабак Гафизу»... хе-хе!.. Там уж все наши в сборе. Ведь вы Гришука знаете? Нет? Ну, как вы, юноша, ничего не знаете. И Молодина не знаете? и полковника Фрея? Тэ-тэ... да ведь это такие праведники, без которых несть граду стояния... Одевайтесь и идите. Все равно сегодня ничего писать не будете... Канатчик-то ведь повесился – вы и будете думать о нем. Вон и ножки болтаются.

На лекции идти было поздно, работа расклеилась, настроение было испорчено, и я согласился. Да и старик все равно не уйдет. Лучше пройтись, а там можно будет всегда бросить компанию. Пока я одевался, Порфир Порфирыч присел на мою кровать, заложил ногу на ногу и старчески дребезжавшим тенорком пропел:

Надо мной певала матушка,

Колыбель мою качаючи:

«Будешь счастлив, Калистратушка!³»

Мы вышли. Порфир Порфирыч в порыве восторга уцепил подвернувшуюся Лизу и за нанесенное оскорбление подарил двугривенный.

– На, чухоночка, где тебе взять... – бормотал старик, шлепя своими калошами.

Лиза проводила нас улыбающимися глазами и проговорила:

– У ней много денек... бокгатая!..

Ш

На улице Порфир Порфирыч показался мне таким маленьким и жалким. Приподняв воротник своего пальто, он весь съежился, и я слышал, как у него начали стучать зубы.

– Мы автомедона возьмем... – решил он, изнемогая окончательно. – Эй, извозец, на Симеониевскую, четвертак!

Мы поехали.

– Вы не думайте, юноша, что я везу вас куда-нибудь, – объяснял Порфир Порфирыч, еще сильнее съеживаясь. – Самое избранное общество, и почти все с высшим образованием. Одним словом, газетные гоги и магоги... А меня ваша чухоночка подстроила: «она пишет... день пишет и ночь пишет». Э, думаю, нашего поля ягода... И потом жаль мне вас стало. Наверно, думаю, этаким романтище закатил в пяти частях, а самому жрать нечего. Помереть ведь можно над романтищем-то. Вы в газетном борзописании не искушались? Э, батенька, сие не обогатит, а кусочек хлеба с маслом даст... Да вот я вас привезу прямо в академию, а там уж научат. Там собаку съели... Научат, как волчий хлеб добывать.

На Троицком мосту нас пронял довольно свежий ветер, и Порфир Порфирыч малодушно спрятался за меня.

– У меня личные неприятности с этим проклятым мостом, – объяснял он. – Сколько флюсов я износил из-за него... И всегда здесь проклятый ветер, точно в форточке. Изнемогаю в непосильной борьбе с враждебными стихиями...

Мы едва дотащились до Симеониевской улицы. Порфир Порфирыч вздохнул свободнее, когда мы очутились за гостеприимной дверью. Трактир из приличных, хотя и средней руки. Пившие чай купцы подозрительно посмотрели на пальто моего спутника и его калоши. Но он уделил им нуль внимания, потому что чувствовал себя здесь как дома.

– Агапычу сто лет... – здоровался он с буфетчиком, перекладывая деньги из правой руки в левую.

– Пожалуйте... – приглашал лакей, забегая перед Порфиром Порфировичем петушком. – Там уж компания-с...

Мы прошли общую залу и вошли в отдельную комнату, где у окна за столиком разместились компания неизвестных людей, встретившая появление Порфира Порфирыча гулом одобрения, как театральный народ встречает короля.

– Отцы, позвольте презентовать прежде всего вам юношу, – бормотал Порфир Порфирыч, указывая на меня. – Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно... Не в этом дело-с. Василий Иванович Попов... Кажется, так?

– Да... – подтвердил я, здороваясь с новыми знакомыми.

Первое впечатление было не в пользу «академии». Ближе всех сидел шести-футовый хохол Гришук, студент лесного института, рядом с ним седой старик с военной выправкой – полковник Фрей, напротив него Молодин, юркий блондин с окладистой бородкой и пенсне. Четвертым оказался худенький господин с веснушчатым лицом и длинным носом.

– Тоже Попов, а попросту – Пепко, – сам отрекомендовался он, протягивая длинную сырую руку.

Мне почему-то показалось, что из всей «академии» только этот Пепко отнес-

ся ко мне с какой-то скрытой враждебностью, и я почувствовал себя неловко. Бывают такие встречи, когда по первому впечатлению почему-то невзлюбишь человека. Как оказалось впоследствии, я не ошибся: Пепко возненавидел меня с первого раза, потому что по природе был ревнив и относился к каждому новому человеку крайне подозрительно. Мне лично он тоже не понравился, начиная с его длинного носа и кончая холодной сырой рукой.

Много прошло лет с этого момента, и из действующих лиц моего рассказа никого уже не осталось в живых, но я всех их вижу, как сейчас. Вот молчаливый Фрей с его английской коротенькой трубочкой. Лицо точно вырублено топором, серые глаза навывкате, опущенные книзу серые усы, серая тужурка; он не любил говорить и умел слушать. Кто он такой, как попал в газетное колесо, почему полковник и почему Фрей – я так и не узнал, хотя имел впоследствии с ним постоянно дело. Хохол Гришук был настоящий хохол – добродушный, ленивый, лукавый по-хохлацки и очень слабый до горилки. Молодин скоро выбыл из компании, пристроившись секретарем к какому-то дамскому благотворительному комитету, собиравшему тряпки, старые коробки из-под сардин и всякую непутную дрянь. Его видали потом уже в шинели с настоящими бобрами, но он отвертывался, не узнавая членов «академии». Да, я смотрю через призму двадцати лет на сидевшую за столиком компанию и могу только удивляться человеческой непроницательности. В трактир на Симеониевской меня привело простое любопытство, и я не подозревал, что в моей жизни это был самый решительный шаг. Бывают такие роковые дни, когда жизнь поворачивает в новое русло, а человек этого не чувствует, поддаваясь течению. Так было и тут. Предо мной открывалась совершенно новая жизнь, новые люди, новые интересы, и я присел к общему столику с скромною мыслью посидеть немного и уйти.

То же самое могу сказать о людях. Если бы человек мог провидеть будущее хоть немного... Я сейчас смотрю на Пепку и вижу его совсем другим, чем он мне показался с первого раза. Мог ли я себе представить, что именно с этим человеком будет связана целая полоса моей жизни, больше – самое горячее, дорогое время, которое называется молодостью. Вспоминая прошлое, я обобщаю свою молодость именно с Пепкой и иначе не могу думать. Это был мой двойник, мое alter ego. Милый Пепко, молодость, где вы? У меня невольно сжимается сердце, и мысленно я опять продельваю тот тернистый путь, по которому мы шли рука об руку, переживая те же молодые надежды, испытываю те же муки молодой совести, неудачи и злоключения... И мне хочется пожать эту холодную сырую руку, хочется слышать неровный крикливый голос Пепки, странный смех – он смеялся только нижней частью лица, а верхняя оставалась серьезной; хочется, наконец, видеть себя опять молодым, с единственным капиталом своих двадцати лет. Позвольте, это, кажется, получается маленькое отступление, а Пепко ненавидел лиризм, и я не буду оскорблять его памяти. В обиходе нашей жизни сентиментальности вообще не полагалось, хотя, говоря между нами, Пепко был самым сентиментальным человеком, какого я только встречал. Но я забегаю вперед.

Порфир Порфирыч торжественно подошел к столу и раскрыл свой нескороаемый шкаф. Присутствующие отнеслись к скомканным ассигнациям довольно равнодушно, как люди, привыкшие обращаться с денежными знаками довольно фамильярно.